ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Василий Павлович Высокий давно работает в нашем собесе замом грозного начальника Федотьева. По роду службы ему каждый рабочий день от начала и до его завершения приходится иметь дело с пенсионерами, инвалидами, разного рода льготниками или, что еще труднее, с теми лицами, которые вынь да положь хотят без зримых причин и веских оснований быть инвалидами или льготниками.

Каждый день уже много лет Василий Павлович Высокий медленно проходит по улицам нашего городка во взвешенном, степенном состоянии, наверняка зная, что возвращаться он будет уже издерганным, наэлектризованным, раздраженным и морально помятым. Таков результат его ежедневных общений с нашей публикой, охочей до всякого рода льгот, привилегий, единовременных выплат или, на худой конец, краткосрочной помощи. При обилии огромного количества заслуженных ветеранов, бывших значимых для района начальников и преданных в прошлом этим начальникам лиц, отказывать кому-то по всем мыслимым и немыслимым законам нет никакой практической возможности.

С годами Василий Павлович разглядел, что те, кому льготы давались, включая и тех, кому они давались совершенно от фонаря, за «магарычи», по звонкам свыше и сбоку, практически сразу уверялись в том, что получают их абсолютно справедливо, но в несправедливо малых размерах. И эти товарищи довольно быстро переставали почитать Василия Павловича за доброту его, отзывчивость и мягкосердие — редкие, как известно, в наши дни качества. Если бы посмотреть на это со стороны, то и в самом деле, за что благодарить-то чиновника, ежели льгота твоя заслуженная, да к тому же обидно незаметная в рублевом выражении.

Что ж говорить про тех, кому приходилось отказывать, чьи слезные просьбы случалось отклонять ежедневно. Тем более что среди отклоненных попадались и те, кому законы сильно и не препятствовали увеличить кусочек от общественного пирога. Те, кому приходилось отказывать, обижались, гневались, переходили на крик и на личности, сморкание в платочки и небезобидные жестикуляции, нередко с костыликом в еще мозолистой руке.

Что ж вы думаете, после этого разве не испортится настроение, не заболит душа и не ляжет морщина на и без того не слишком гладкий лоб? А если принимать все обиды просителей, весь их энергетический негатив на себя, на всю собственную нервную сеть, или, как любят утверждать на Востоке, на всю свою ауру, тогда что получится-то: десяток лет работы на износ — и подыскивай место в психоневрологическом учреждении закрытого типа.

Конечно, можно превратить себя в бесчувственный камень, в непроницаемого чинушу, в «зайдите завтра», но это недостойно, это не в характере Василия Павловича. И он с годами, конечно, постепенно, двигаясь методом проб и ошибок, выработал свой собственный прием задушевных бесед с проблемными посетителями. И чем напористее и агрессивнее попадались просители, тем настойчивее, дольше и скрупулезней интересовался у таковых Василий Павлович жизнью и здоровьем жен, мужей, детей, отцов и матерей, если таковые имелись, состоянием личного подворья, автомобиля и урожайностью картофельных грядок, если все это имелось у все еще настойчивого просителя. Также непременно интересовался Василий Павлович уловами рыбы, результатами сбора грибов, заготовкой боярышника, чабреца или еще какой-нибудь полезной для здоровья «зеленой аптеки». Сам Василий Павлович, будучи человеком основательным, презирал легкомыслие ловли рыбы, пальбу охотничьей гурьбой по зайчикам и уточкам, а шататься по лесу в поисках грибов и вовсе полагал делом близким к недостойному, приравненному, например, к неспровоцированному распутству.

Отдельную тему, наиболее разработанную и выверенную, составляли расспросы о здоровье посетителя. О! Это было песней Василия Павловича, его любимой стихией. Он умел так досконально выведать все тонкости симптомов, особенностей течения болезни и поставить настолько выверенный диагноз, что куда там нашим совершенно подотставшим и подуставшим докторам! А главное, все это действовало безошибочно и безотказно. Да и кто ж у нас не болен? Разве сыщешь такового на бескрайних просторах России? Нет, не сыщешь. Нечего и искать без толку. Почти уже и не осталось тех, кто в ответ на вопрос: «Как дела?» вдруг возьмет и скажет тебе: «Слава Богу, хорошо». Большинство же махнут рукой, если некогда постоять, а если не торопятся, то спина заболит и отсохнет, пока выслушаешь обо всех невзгодах и болезнях того, с кем и требовалось-то всего лишь поздороваться.

Общаться за столом, в своем кабинете гораздо удобнее — спина не заболит, ноги не замерзнут, а часы, что напротив, двигают стрелки к концу твоего очередного рабочего подвига. Удобно еще и то, что часть из пришедших на прием, заглянув в кабинет пяток раз, плюнет да и уйдет, тихонько матерясь на всю бюрократию страны вместе взятую. В таком разговоре Василий Павлович имел все шансы расположить к себе просителя и разоружить его так, что тот отказ воспринимал лучше, чем согласие и так тряс на прощание руку и благодарил отказавшего, что стоящие еще за дверью невольно проникались уважением к чуткому чиновнику и навострялись уже думать, что и отказ бывает исключительно полезным.

Как-то позднеосенним днем Василий Павлович Высокий находился на своем рабочем месте за столом, с аккуратными стопками бумаги формата А4. По стеклу тоскливо и однообразно ползли дождевые капельки, на подоконнике, лежа на спине, брыкались всеми лапками никак не могущие окончательно заснуть мухи, а береза за стеклом у гаража гнулась и трепетала своими редкими листочками под порывами ветра. И было даже досадно Василию Павловичу, что все листочки в положенное время отвалились и смирнехонько лежали себе в грязи под деревом, а эти теперь своим трепетанием хотели вызвать в окружающих жалость, сочувствие и неловкость от невозможности помочь им не ляпнуться в грязь своим благородно седым окрасом.

Пробивало на зевоту, на воспоминания о шалостях молодых лет, упущенных возможностях и нереализованных способностях. Отчего-то вспоминалось вдруг такое, что казалось забытым прочно и навсегда. Хотелось мечтать и грезить, быть милосердным, значительным и молодым. Одновременно хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел и посочувствовал, что в реальности ты уже не так молод и все еще не так значителен. Потянуло сходить в соседний кабинет, встряхнуться физически и морально: уж больно заливисто хохотали за стенкой молодые коллеги-чиновницы.

Уже в дверях Высокий столкнулся с Иваном Григорьевичем Хачуриным — своим соседом по улице. Тот успел сунуть руку для ее пожатия и занять своей фигурой часть дверного проема. Делать нечего: пришлось Василию Павловичу вернуться на рабочее место.

— Ты что это, уходишь куда? — вежливо и разочарованно поинтересовался Иван Григорьевич. — А я хотел с тобой тет-на-тет посоветоваться по одному хорошему делу.

— Нет-нет, ничего. Ничего страшного. Ничего страшного, Иван Григорьевич. Присаживайся вот на стул. Садись, дорогой. Раздевайся, если надо, — подчеркнуто культурно суетился Василий Павлович. — Я слушаю тебя очень внимательно.

— Да вот что, Василь Палыч. Не знаю даже с чего и начать. Что-то лежал вот сегодня ночью. Все думал, думал… Эх, вспоминал, вспоминал… Эх… получается, пока работали, как волы, нужны всем были, а теперь никому мы и не нужны. Ни-ко-му! — к чему-то клонил сосед по улице. — Тебе-то до пенсии еще далеко, а тут иной раз подумаешь — и зачем только жил? Зачем терпужил днем и ночью? Зачем, как вол, пахал, жилы последние рвал? Эх… и не знаю. Утром решил: «Схожу-ка к Василь Палычу, к соседу моему. Может, что посоветует мне, как сосед хорошему соседу. Авось, думаю, по лбу не вдарит, пинка под зад не даст заслуженному человеку».

Вступительная речь соседа явно грозила перерасти в репортаж ни о

чем, и Василий Павлович решился придать ей хоть какую-то смысловую определенность:

— Иван Григорьевич, уважаемый, ну ты безо всякого можешь напрямую изложить устно любую свою просьбу. Вместе подумаем, покумекаем, поищем, так сказать, основания...

— Да что говорить! — перебил раздосадованный сосед. — Что сказать, Василь Палыч, дорогой? Положение мое ты знаешь. Знаешь: живу один без бабки. Теперь вот скоро уже почти пять годов отлежала. Царствие ей небесное. Сын — тоже знаешь где. По собственной из-за дружков своих дури... Они гуляют-пьют, а он за них парится теперь. А дочь... Дочь и заходит, и спрашивает, что, где, как... Внуки и те, и другие заходят. Дам им когда сотенку, а когда и поменьше... Эх-х-хе... Василь Палыч. А так-то один со своими думками. Один. И все время вспоминается, как, где да с кем терпужили. Много делов-то, много переворочили! Рассказал бы кому, не поверили б.

Нащупав паузу в речи, Василий Павлович решился брать инициативу на себя, вклинился и энергично возражал:

— Нет-нет. Не скажи. Не скажи, сосед. Я с тобой тут, извиняй, но не согласен. Как это так: «кому это нужно»? Твой-то опыт, что партийной работы, что по профсоюзной линии, что другой какой деятельности, да никому не нужен?! Не-ет! Это ты зря на себя только наговариваешь.

— Да ничего не зря. Какое там зря! О чем говорить-то, дорогой Василь Палыч, сосед мой хороший? Время теперь другое. Всем подавай комфорт и блага, да денег побольше, а работать никто не хочет. Никому это не надо — дураков нет. А мы — что там? Мы-то, помнишь: с темного до темного — день и ночь. А в войну как работали! А? Я с четырнадцати лет прицепщиком. Даже с двенадцати, считай, уже вовсю работал. А на волах как хлеб в элеватор возили черте куда. Эх... помню, волки на степи перевстрели... Ух и страху было, думал помру со страху. Хорошо, что лошадь умная попалась, а то бы рванула, упал бы — разорвали в клочья. А ничего и удивительного. Случаи-то такие по району бывали.

— Да, да, Иван Григорьевич, — поспешил согласиться Василий Павлович. — Тут ты прав. Так, как вы работали, мы теперь не умеем. А наши дети и совсем к труду не приучены. Но я что хочу сказать? Мы сами виноваты, что не приучаем их, не передаем былые традиции. Ты небось с твоим опытом ни разу в школе не был?

— Да какое там! — поморщился собеседник. — Кому это нынче нужно? Они сами, учителя, и те не хотят, чтобы мы туда ходили. История-то теперь у них какая? Раньше мы знали и сталинскую конституцию, и сталинские удары по врагу, и стахановцев всех наперечет. А теперь — кто такой Ленин, никто не скажет тебе. Теперь у них «белые» оказались лучше «красных», а кто больше всех нахапал, тот и молодец: жить, значит, умеет.

Чувствуя потребность собеседника выговориться, Василий Павлович расслабился и решился дать совет:

— А ты бы, Иван Григорьевич, взялся писать мемуары или какие-нибудь воспоминания. Вон как наши артисты пишут теперь почти все. Описал бы свою трудовую биографию — лучше любого сериала получилось бы. Обрыдались бы все, я тебе точно говорю...

— Это уж твоя правда, сосед. Столько всего пережито, сколько пройдено. Столько делов наворочено. Бывало, позовет к себе секретарь райкома. Ты-то его уже не захватил — Василия Антоныча-то. Мужик-то хоро-

ший был, простой, но только больно горячий. Горячий, прямо нет спасу никакого. Зовет, помню, меня к себе в кабинет свой. Делать нечего, иду. Валенцы там в коридорчике обтряхнул венчиком, причесался перед трюмом, как положено, все чин чином — «под зад пинчином». Как теперь помню, суббота была. Постучался, взашел, а сам боюсь, молодой совсем. Мне и было-то тогда двадцать девять годов. Нет, должно быть двадцать восемь. В кабинете накурено, мать моя баба, хоть топор вешай. Не продыхнуть. Он, Василь Антоныч, курил страсть как — одну от другой прикуривал. А кабинетик у него такой небольшой был — не как теперь, даже вот помене твово. Подошел, значит, поближе. Он поздоровкался за руку. Смотрю, вроде ничего, вроде веселый. И спрашивает так: «Это что у тебя надои, товарищ Хачурин, меньше козьих упали, а? Ты почему это валовкой не занимаешься совсем?» А когда мне следить-то за ней, я и парторгом-то всего как неделю назначен. Ну и говорю ему, поясняю так культурно: «Да я, Василь Антоныч, только неделю работаю на посту. Я еще не успел...» К-как он взовьется, к-как заорет ни с того, ни с сего, как будто ему шилом ширнули: «А-а-а, да ты, оказывается, даже и не успел! Даже и не удосужился?! Мы тебе доверили ответственный пост, райком тебя поддержал, а ты, вижу, жить легко навострился!»

Иван Григорьевич говорил и старательно гримасничал, стремясь передать мимику, жесты и голос вспыльчивого секретаря, и даже перешел почти на крик:

— Да я, говорю ему, я еще не совсем вник... Как он заорал еще дюжее: «А-а-а, да ты еще и не совсем вник, оказывается! Пришел тут, стоишь, расписываешься в собственном бессилии!..» Подскочил ко мне и каак даст мне кулаком в ухо. Мать родная, батюшки мои, ажник все везде зазвенело!

— Еще дать? — спрашивает. — Иль уже так понял?

— Понял, понял, Василь Антоныч. Понял все очень хорошо. Спасибо. Спасибо, что хорошо объяснили. Очень доходчиво, по-отечески, без бюрократии.

— Ну а раз понял, — говорит мне, — ступай и работай!

Вышел я из кабинета, шапку в охапку, да скорей в колхоз, скорей работать над удоями, будь они неладны. Вот это мне была первая наука, как правильно нужно докладывать начальству об отдельных недостатках... Вот как тогда работали. Вот как отвечали по всей строгости. А теперь что? Каждого засранца уговаривают и ублажают, советы ему советуют, а он ничего делать не хочет, и наказать сроду его не моги.

— Иль вот покойный Николай Васильевич мне рассказывал, — продолжал воспоминания Хачурин. — Ты помнишь его? Ну, на подстанции на нашей работал? Жена его еще с Хрыкиным путалась? Их в посадках вдвоем застали. Не помнишь что ль? Да на бюро даже разбирали, — удивлялся и готов был разочароваться в Высоком как слушателе Хачурин. — Да дочь его завмагом «на бугре» работала, за растрату ее судить еще хотели, а потом за взятку дело закрыли...

Василий Павлович на всякий случай кивнул в знак согласия, а Иван Григорьевич, хоть и не поверил, что тот вспомнил, но продолжал — ему важно было досказать начатое:

— Вот он мне сам рассказывал, покойный, как поступило указание свыше, значит, окультурить всем свои территории. За культуру Василь Антоныч всегда строго спрашивал, хотя сам, по совести сказать, не сильно ее придерживался. Вечно курил, тут же плевался под стол, мог любым

матом обложить кого ни попадя, не глядя, кто перед ним, женщина или пацан какой. Ну, вот он мне и рассказывал, как один раз приехал к нему первый райкома и спросил так, с подходцем: «Ну, рассказывай, как ты тут окультуриваешься? Как порядок кругом наводишь?» Ну и Николай Васильевич, конечно, начал объяснять, где они, что прибрали, где клумбочки-цветочки какие думают сажать и все такое-прочее. А Василь Антоныч говорит ему: «Ну, это все ты хорошо мне тут нарисовал, складно рассказал, как батюшка в церкви. Садись, теперь вон в мой “уазик”, проедем кой-куда». Тот, конечно сел, а сам не поймет, куда надо ехать и зачем. Сели, значит. Сам Василь Антоныч за рулем, отъехали метров десять, и первый остановился прямо посреди огроменной лужи около въезда на подстанцию. Там раньше была такая лужища, в ней утки всегда плавали. Василь Антоныч вышел из машины. Ему-то что? Он всегда в яловых сапогах ходил, он их и не снимал никогда, а Николай Васильевич вынужден был в своих ботиночках прямо в глубокую грязь становиться. Василь Антоныч как бы этого и не заметил специально. Постояли, поговорили ни о чем, и секретарь уехал. А на следующий день Николай Васильевич бросил все свои провода и лампочки, поставил людей, выпросил в автоколонне пару ЗИЛов со щебнем и засыпал всю эту лужу, хе-хе... Во-от как работали! — подняв указательный палец, восхищался произведенным впечатлением Иван Григорьевич. — Вот какая ответственность была, а ныне что? На сессии соберутся, сидят, решают-решают, а в конце напишут «рекомендовать». Что это значит — рекомендовать? Надо приказывать и спрашивать строго, а не рекомендовать. Помню, на сессиях докладчики в наше время в обморок падали, откачивали нашатырем, — почти закончил Хачурин, но потом добавил веско: — Помню, Романыча «чистили» за падеж свиноматок в «Советской России». Тот стоял-стоял, отбивался, как мог, весь потный, бледный, как перед расстрелом, а потом как долбанется навзничь, аж очки на ем подпрыгнули. Сознание от волнения потерял, хоть и не мальчик уже был. Вот это спрос! Хотя по совести разобраться, в тот раз он и не виноват был. Совсем не виноват. Это председателя убивать надо было за брехню и приписки, но тот же с первым темными дружками были. Семьями дружили. А как своего тронешь-то? Вот и отыгрались на Романыче.

Иван Григорьевич задумчиво почесал подбородок и продолжил:

— Да, дисциплина нужна была. Нужна. Без нее русскому человеку никак нельзя. А то щас... Сталина заплевали совсем. А кто войну-то выиграл? Кто разруху восстановил и ядерную бомбу создал? Помню, мы пацанами еще были, когда он уже помер. Ну и хоронили. Слезьми, помню, заливались, все до одного, занятия в школе остановили, думали, все, теперь война и голод опять начнутся. Привыкли к строгости и порядку при нем. Мы-то уже шестиклассниками были, кой-кто уже работал наравне со взрослыми. И вот, помню, согнали всех перед школой на траурный митинг. Сталин-то в марте скончался. Холодно еще было, снег возле школы лежал. Почетный караул с повязками поставили, портрет от директора принесли, выступлений было много: директор школы, парторг, от РОНО, от профкома, от старших классов, от общественности. Рядом со мной Васька Шатилов стоял, с ноги на ногу мялся, в туалет по-маленькому ему сильно приспичилось, а как тут уйдешь? Нельзя в туалет. Стой, терпи. Вот он, бедняга, под конец и не утерпел и надул, как стоял, прямо в штаны. После этого его так до самой армии ссыкуном все и дразнили. Вот, уважаемый Василь Палыч, порядок какой был! А щас тебе любой

школьник на замечание так отбреет, будь здоров, а ты говоришь, надо в школу ходить. Сами учителя — и те уже запутались, не знают, что делать и как учить.

— Помнишь, учительница по химии была у нас Анна Макаровна? — уточнял Хачурин. — А? Не помнишь? Ты ее не захватил уже? Ну, зря. Вот учительница была, не баба, а фельдфебель в юбке. Бывало, построит всех нас у доски, пройдет строго и обнюхает каждого, не постесняется. Она это любила. У нас почти все уже курили. Чтоб запах отбить, заедали мы его чесноком и даже полыном. Заедай не заедай, а она все равно учует. Раз заставила всех карманы вывернуть, а у Петьки Чермашенцева целая горсть табаку осталась. Стоит бедный, покраснел весь, вспотел, чуть не плачет. Так что ж ты думаешь, Анна Макаровна заставила его съесть махорку перед всем классом. Тот, бедный, весь надулся, стыдно перед классом, но засыпал всю махорку в рот и сжевал — аж слезы из глаз... Вот как воспитывали в наше время! Не то, что нынче. Умели отучать от дурных привычек.

— Это ты про какого Петьку рассказываешь, сосед? Шофером, что ль, который работал в кооперации? Какой потом на яблоне повесился. Да? Но он же, по-моему, дымил, как паровоз, — простодушно вспомнилось Высокому.

— Да про него я и говорю. Но он хоть и курил дальше, а ведь с ним боролись, не были равнодушными к его судьбе, как нынче в наших школах. Глянешь, выйдут теперь на крыльцо, путем от школы не отойдут, а уже прикуривают. У каждого по зажигалке, и, что характерно, никто никаких замечаний не сделает. Не жизнь, а малина пошла, — возмущался Хачурин.

Василий Павлович немедля согласился с соседом и добавил, что тоже помнит, как на них, на подростков, по вечерам учителя облавы устраивали, когда те в клуб на взрослые сеансы пробивались. Рассказал, как смотрел какую-то кинокартину, лежа прямо на полу в переднем ряду, чтобы сзади не увидали и не прогнали. А кино тогда крутили какое-то иностранное, индийское. Счастья было, конечно, выше крыши. Рассказал, как на другой день в школе Высокий всем хвалился, что ловко обхитрил учителей.

Василий Павлович с Иваном Григорьевичем немного помолчали, посмотрели вместе в окно на сироту-березу, повздыхали об ушедшем хорошем времени.

— Осень в этом году — ужас какой-то. То без дождей, то залило все, грязь надоела, — обреченно уронил Иван Григорьевич.

— Да, — тихо подтвердил Василий Павлович. — Осень — ни к черту в этом году. Посмотрим, какая еще зима будет. По прогнозу и зима не лучше.

Хачурин молча и печально сунул руку для прощания. Высокий проводил его до двери кабинета, так и не узнав, с какой личной нуждой приходил к нему ветеран некогда ответственного труда.

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Начальству, как известно, всегда виднее. Оно, к примеру, знает наперед, когда кого выдвинуть на ответственную должность и когда кого опять же задвинуть. Кому что-то доверить, а кому пока обождать и дать получше созреть и проявить себя.

Районное начальство доверило главе Большеямского поселения выс-

тупить на районном концерте в честь лучших женщин всего района. Оно резонно решило, что все сколько-нибудь красноречивые начальники уже выступили не по одному кругу и стали часто повторяться, произнося со сцены «Уважаемые наши женщины… высокая роль женщины в обществе… вы создаете тепло домашнего очага… мы ценим вас как женщин… мы не всегда бываем к вам внимательны… с Международным днем вас и в вашем лице всех, кто не пришел…» Начальство и остановилось-таки на свежем лице, мало кому еще надоевшем в районном центре.

Конечно, Сергею Митрофановичу сделалось бы значительно комфортнее застенчиво отказаться, сослаться, к примеру, на начавшийся запой, ушиб седалищного нерва, какую-нибудь, прости Господи, подагру или разгулявшийся в этот раз некстати геморрой. Да мало ли кроется в человеке разных, вполне уважительных и ненужных болезней? Но Сергей Митрофанович вовсе не таков и сразу дал понять, что район по-прежнему, как и ранее, может твердо на него рассчитывать и в большом и малом.

Пара дней пролетела как одно очень длинное мгновенье. Пора подошла обдумать речь, внешний прикид и сам выход-уход со сцены. Подумал, повспоминал свои же удачные выступления, чужие конфузы и даже «пособирал» паутину Интернета. Но вроде начал сомневаться насчет манеры подачи: в шутливой форме или, наоборот, строго, сухо, без фривольностей и легкомысленных подмигиваний. Решил: нет, нельзя сухо — это ведь не перед собственной супругой, могут неверно подумать, что ты и сам такой же сухой, сухарь не размоченный и, упаси Господи, не креативный. Решился выступить весело, задористо, с блеском в глазах, но в меру, как бы культурно сдерживая себя от большего.

Думал-думал и под конец написал речь хорошую и в меру душевную и довольно длинную — настолько, чтобы женщины в переполненном зале смогли бы успеть оценить его неброское обаяние, немалую одухотворенность, неразгаданную загадочность и сокровенную самобытность.

Супруга, вполне разделявшая значимость публичного поступка мужа, прикупила и подшила новый костюм, сорочку и галстук, а потом уж и замечательные туфли по моде, представленной местным цветистым базаром. Сергей Митрофанович наизусть выучил себе речь, и как раз к тому времени и подошло шестое число марта, когда по традиции у нас обыкновенно отмечают день 8-го Марта.

Но человек предполагает, а судьба, как всем известно, располагает и вертит нами почем зря, не взирая на лица и не читая табличек на дверях кабинетов.

В районном клубе вдруг Сергея Митрофановича накрыло глупое волнение, откуда-то взялась немотивированная тревога: «А так ли уж я стану хорош со сцены»? Чтобы развеять предательское беспокойство, Сергей Митрофанович поднялся по крутым ступеням на второй этаж, зашел в библиотеку, двинулся безо всякой цели на балкон. В полумраке балкона оступился, неловко двинул ногой и услышал треск, который так знаком каждому, кто хотя бы иногда ходит в новых брюках.

Однако ж Сергей Митрофанович не таков, чтобы впасть в отчаянье и слабовольное уныние. После контролируемого гнева на тему: «Шьют на покойников, а продают живым», — он небольшими, зажатыми шажками пришел в кабинет к Валентине — одаренной художнице местного ДК.

Валентина — бывшая одноклассница, спокойная и фигуристая, а главное, всегда имеющая сострадание к человечеству, иголку и нити раз-

ного цвета. На половине извинительной просьбы Сергея Митрофановича она буднично произнесла: «Сымай».

Сергей Митрофанович осуждающе остолбенел, сконфузился, но быстро сообразил, что произвести шов изнутри, на нем же, будет куда как сложнее и для него же волнительней, и покорно стянул с себя брюки, с любопытством глядя на новые трусы в горошек. Валентина тоже с любопытством посмотрела на его горошек и предусмотрительно посоветовала Сергею Митрофановичу сесть на стул сзади за шкафом. Сергей Митрофанович с внутренней глубокой благодарностью сразу согласился и затих.

Открылась дверь. Вошел Виктор Николаевич — местный галантный депутат из числа необыкновенно особенных и всегда патриотично настроенных граждан. Там, на входе в фойе, школьницы, не подумавши, и ему вручили веточку мимозы, а Виктор Николаевич не возмутился, что он, мол, мужчина, не стушевался, попросил еще две веточки и пришел вручить пахнущую пряной весной желтую пухлошарую прелесть Валентине, о которой давно и частенько, как женатый человек, грезил предельно смелым и творческим образом.

Виктору Николаевичу крайне не полюбилась сцена испуганного смущения застуканной им парочки, но он не подал и вида, а даже наоборот изобразил все так, как будто в нашем городке всегда при каждой порядочной разведенке обязательно встретишь мужика без порток. Виктор Николаевич бодро поздоровался с Сергеем Митрофановичем, буднично вручил Валентине мимозу и подчеркнуто тактично ретировался.

Оставшиеся стыдливо глянули в глаза друг другу. Валентина прочла: «Ну, теперь всем разболтает»! Сергей угадал: «Да уж, разговоров будет на месяц»! Да оно и понятно, и простительно. При таких делах и каждый из нас без труда выведет: «Ах, вон ты какой кобель получается? А еще женщин назначен поздравлять. Сидит у порядочной разведенки в одних трусах без штанов при галстуке. Срам-то, срам-то какой?! Да и Валентина тоже хороша. Нашла время для утех. Что-то не водилось за ней такого. А еще бывшая учительница называется».

В течение десяти следующих минут к Валентине по всяким важным поводам зашли все ее сослуживицы. При этом ни одна из них совершенно случайно даже не заметила красного и испуганного Сергея Митрофановича. Но Господь, как мы все хорошо знаем, не посылает нам испытаний сверх нашей способности переносить их, и брюки были в итоге зашиты, суетливо надеты, а белая рубаха в них заправлена. Кстати, заправка рубахи под ремень показалась Сергею Митрофановичу верхом унизительного позора и осознания неловкой измены мнению людей о его несомненной добропорядочности и моральной устойчивости.

Вечером того же дня супруга Сергея Митрофановича задала ему жесточайшую трепку, более основательную, нежели когда застукала его на празднике в колхозном клубе при ощупывании Верки — аппетитной секретарши председателя колхоза. Сергей Митрофанович, как мог, оправдывался, понимая, что попал в очевидный, непредвиденный цугцванг, когда каждый его ход только усугубляет ситуацию и неизбежно ведет удачную партию к проигрышу. Супруга громко утверждала, что она всегда знала о тайной страсти мужа к однокласснице Валентине, что ставший явью позор на всю деревню она ничем не заслужила и что могли бы они с Валентиной, если уж совсем им невмоготу, встречаться как-то по-тихому, а не так аморально и вызывающе охально при все честном народе. Когда супружница стала стыдить главу Большеямского поселения о том,

что он подает плохой пример молодежи Большеямского сельского поселения, а их дети теперь не смогут спокойно ходить по улицам Больших Ям, Сергей Митрофанович малодушно съездил ей по скуле. На том речь жены перешла в стадию легкого подвывания со всхлипываниями во время чистки картошки для совместного ужина.

Три месяца Сергей Митрофанович промучился, не поднимая глаз на своих подчиненных, своих и чужих детей, родню, старушек и продавщиц местного магазина. Он понимал, что для него лучше было бы искренне повиниться перед родней и остальным миром, но сочинять неправду было никак не возможно из-за доброй одноклассницы Валентины.

Частный эпизод с брюками завершился тихим разводом без истеричных криков, убедительных угроз и обмороков. Из семьи и со службы Сергей Митрофанович перебрался на житье к Валентине в город, а та его без тревог и сомнений приняла.

Недавно все тот же глубоко осведомленный обо всем в мире Виктор Николаевич поведал мне по секрету, что живут Сергей и Валентина прямо-таки счастливо: он уже перекрыл сарай, починил трубу и заменил забор, и теперь они уже собираются завести себе общую дочку.

РЕЧЬ

Накануне праздника работников сельского хозяйства в акционерном обществе «Путь к достатку» определяли лучших работников. Задачка оказалась не из простых. Пресловутый плюрализм мнений никак не давал назначить лучшими тех, кого таковыми видел генеральный директор акционерного общества. В разговорах не раз звучали фразы «достойные из достойных», «надо отдать должное», «не покладая рук» и «маяк производства», но дело двигалось медленно. Разгоряченная председательша профкома даже употребила слово «номинация», но все посмотрели на нее долго и осуждающе по типу: «Говорить-то говори, да не заговаривайся», она замолкла, заметно покраснев. Дальше лучших выбирали просто, по направлениям их производственных усилий.

Когда все направления были разобраны и определили-таки лучшего доярa, лучшую телятницу, лучшего механизатора, лучшего агронома, лучшего скотника и всех остальных лучших, директор предложил добавить еще и направление «лучший водитель». Все удивились, поскольку каких-то полчаса назад уже определили кандидатуру на звание «лучший шофер». Но директор объяснил: «Я предлагаю на эту роль моего водителя Володю Нешкова. И объясню всем почему...» Далее директор напомнил всем, что его водитель — «человек честный, порядочный и скромный, давно возит начальство, ни разу его не подводил ни в больших делах, ни в малых». В конце краткого пояснения всем стало ясно, что Нешков не был ни разу в жизни поощрен ни за скромность, ни за порядочность, ни за какие другие качества, и все дружно поддержали порыв директорской души.

На следующий день на общем собрании чествовали передовиков, хвалили их за добросовестный труд и призывали остальных равняться «на маяков производства». В фойе сельского клуба уже стояли столы, полные вкусной еды, с откупоренным заранее спиртным и деликатесами в виде винограда, мандаринов и пушистых персиков. Уже к директору подходила старшая повариха Люся и, наклонившись к сидящему руководителю, в очередной раз предъявляла ему свои тяжелые, объемные, белые преле-

сти, попутно докладывая, что осталось поднести из столовой только толченую картошку. Без горячей толченой картошки в наших селах ни праздновать, ни поминать как-то не принято. Директор, сосредоточенный на ее объемах, рассеянно кивал, что могло означать, что надо закругляться с речами и двигаться ближе к столам. По такому сценарию проходили и прежние мероприятия.

На сцену позвали последнего по списку награждаемых Владимира Кузьмича Нешкова. Он неуверенно поднимался по деревянному порожку на деревянных же ногах. Намедни вечером Кузьмич случайно узнал о том, что его будут чествовать впервые в жизни, очень взволновался от этого, не смог заснуть, считай, всю ночь, вспоминал свою жизнь сельскую и даже военную службу на Волге, в большущем городе Горьком. Утром со старшим сыном выпил для храбрости, надел единственный красивый свитер с глаженными брюками и вот теперь прямой и строгий поднимался на всеобщее людское обозрение.

Ведущая праздника, завклуб Люба поднесла ему запечатанную коробку, на которой был нарисован какой-то кухонный агрегат, и подала этот подарок, кокетливо улыбаясь и привычно виляя задом. В зале раздались дружные хлопки односельчан. Нешков видел сверху веселые лица людей и решился сказать несколько слов в качестве благодарности. Сильно смущаясь и оглаживая по бокам свитер, совсем не своим голосом он сказал как-то совсем по-стариковски: «Я хочу сказать слова спасибо за подарок в мою пользу, а также проздравить присоглашенных на собрание». То ли от чрезмерной зажатости, то ли, наоборот, от расслабления после выпитого, но не исключено, что от того и другого одновременно, Владимир Кузьмич не сошел со сцены, а продолжил говорить:

— Должен сказать здесь спасибо моей матери-покойнице. Вы ее все знаете. Она родила меня и всех нас девятерых нянчила, устроила вначале в ФЗУ, а потом в армию, а потом оженила меня, как положено. Она, покойница, была строгая: как чуть что не так — мокрой тряпкой вдоль спины. Но работяга была редкая. Терпужила и день, и ночь. Через того и померла рано. Надо здесь сказать благодарность и отцу-покойнику. Хоть он и пил помногу, но кузнец был редкостный. Из-за этого ему окалина глаз выбила и не забрали на войну. Отец дом построил наспроть магазина...

Чем дальше продолжалась импровизированная речь Нешкова, тем увереннее он становился, и уже сам видел смысл донести до людей то, о чем никогда не помышлял рассказывать даже в тесной подгулявшей кампании, а не то что перед всеми. Он смотрел в зал, но как бы не видел перед собой никого конкретно. Лица сливались в единый ковер глаз любопытствующих, недоверчивых и удивленных от того, что заговорил самый немой из них. Это вдохновляло его, и Нешков продолжал:

— Дом был крыт соломой и потом от молоньи сгорел. Ничего не спасли. Но это ладно. А еще хочу сказать спасибо моему старшему брату Леониду. Он сейчас парализованный живет. Он, братец мой, меня и бил, и разуму научал, и спас мене, когда я на нашем пруду чуть не утоп. Он, Леонид-то, мне много добра сделал, а теперь вот сам весь больной и негодный, всего на три года старше меня.

Владимир Кузьмич замолчал, но было видно, что он продолжит. Седоволосый ветеран будто бы решался на что-то более существенное. Как прыгун в высоту, он уже победил всех соперников, взял свою планку и теперь готов был на побитие мирового рекорда:

— Я хочу сказать благодарность супружнице своей Елене Петровне.

Без нее я давно пропал бы. И когда пил запойно, и когда почку отняли. И вообще я считаю, она много сделала хорошего для меня и своей семьи. Перво-наперво имеется в виду, что она родила шестерых детей. Троих уже нету, царствие небесное. Володька, сын последний, разбился в прошлом году перед самой, считай, армией... вы это все... его хоронили... А так она всех подняла на ноги, всем дала образование... Две дочери в Липецке хорошо устроились, имеют работу и всем обеспечены. Каждый год на Паску приезжают, ходим на кладбище, поминают там свою матерь. И я ее, мою сердешную, поминаю, можно сказать, каждый божий день. Мало она, конечно, пожила, а горей пережила много.

В зале поняли, что Нешков преодолел некий очень важный барьер, исполнил давно задуманную миссию перед собственной совестью и памятью о своей покойной жене, с которой прожил, как теперь ему казалось, счастливо и в согласии почти сорок лет. Так вместе с ним считали и все мужики, сидевшие в клубе, к месту забыв о том, как он уходил из семьи, как в пьяных припадках гонялся за ней с ножом и обзывал самыми обидными и гнусными словами, как бил ее в ухо и по спине. У мужчин память на этот счет короткая. К тому же многие знают, что жен в селах бьют не всегда от того, что скучно или что плохо к ним относятся, а от того, что все равно не могут сделать их счастливыми.

В зале стало тише, чем до начала речи Нешкова. Удивленные люди, казалось, забыли, что их ждет самое главное — заработанная ими за год выпивка и закуска в их же честь. Слыша добровольную исповедь простого человека, многие внутренне желали ее продолжения, но никто не знал — для чего, а тем более — о чем. Но Владимир Кузьмич поставил на пол свой подарок, сделал шаг к краю сцены и вдруг продолжил:

— Никто здесь не сказал об нынешней жизни. Все хорошо, все хорошо, как попугаи все об одном и том же. А что хорошего-то? Чем уж так жизнь в колхозе хороша? То есть теперь уже не в колхозе. Чем она таким хороша-то? Работать стали еще хуже, пьянки, я считаю, стало больше, безобразий всяких у нас во сто раз больше. А сколько скотины было у нас?! Вечером стадо гонють, еле дождешься, когда по мосту можно проехать. В кажном дворе голова, а то и две было. А теперь что? Молодежь не хочет рано вставать, косить-возить-сгребать, а старики уже не могут. А колхозной скотины, считай, и нет. Одни вон развалины в бурьянах, как после бомбежки. Баню растащили, силосную яму растащили, сепараторный пункт растащили. А какой был. Все было новое, все блестело. А какой мехдвор был, а? Одних колесных тракторов под тридцать штук, и каждый год списывали технику, а взамен шла новая. А?.. Чем не жизнь была? С темного до темного в поле вкалывали, ни выходных, ни проходных, и всем работы хватало, а теперь безработица кой у кого. Откудова она взялась, безработица? Я считаю, от лени и от бездельничья. Кругом одни больные да шальные. Глянешь, а он идет по улице: морда красная, хоть прикуривай, а работать не может — группа у него. На шее у государства сидит и в ус не дует. Рази ж так можно?

Из зала кто-то поддакнул: «Правильно говоришь. И таких у нас половина нахлебников. Больные, а как самогон пить — дай дороги. Лишь бы кто за них работал...»

Нешков испытывал настоящую эйфорию. Он сам был заворожен тем, как ясно излагал, как терпеливо его слушали, но уже собирался прервать свою речь, когда увидел, как к его шефу в президиум вновь подошла повариха Люська и, стоя задом к людям, стала бесцеремонно лепетать что-

то про свою остывающую картошку. Обижало то, что она при всем честном народе бесстыдно выпячивает то, что следовало бы прятать. Но особенно обидела Нешкова расслышанная им фраза: «Нашелся тут оратор...» Это он-то оратор? Да он вовсе и не орал, говорил вполне тихо и никому не мешал, а если кому не нравится сказанное, то это его личное дело. А еще ему стало обидно за директора, который вначале присудил ему подарок, а потом не может расчихвостить, как следует, эту гулящую Люську. О том, что Люська гулящая, Нешков знал доподлинно, так как сам лично имел с ней как-то дело в логу за овцефермой. Но напирать Владимир Кузьмич не стал, да и зачем ему это, и вполне мирно произнес: «Ну, если вы считаете, что мне пора замолчать, то я пошел...» Из зала крикнули: «Кузьмич, все правильно говоришь. А что толку-то? Все равно никто не услышит». И уже у самых ступеней Нешков остановился и продолжил:

— Не услышат счас. Да не больно слушали и раньше. А когда слушали-то еще хуже. Маво деда услышали: за то, что сталинскую конституцию назвал сталинской проституцией, загнали так, что неизвестно, где помер. А отец на футболе поцапался с предом, а на другой день приказали у нас запахать огород, а на нем уже картошка цвела. Ни за что человек пострадал. За то, что свое спросил. За правду, можно сказать. Всю жизнь то трудодни недописывали, то получку урезали, то норму выработки завышали. Что только не вытворяли с людями. А сейчас хорошо: никого ни за что не ругают. Никого ни за что не сажают — говори, что хочешь: только кругом одни глухие. Никому ничего не надо стало. Всем только льготы подавай, группы и пенсию поболее. А раньше ее и совсем не давали, и ничего, все молчали и были довольны. Каждый работал за семерых, да думал, как бы из нашей грязи выбраться.

Генеральный решился-таки прервать своего водителя и, обратившись к залу со своего места, сказал: «Давайте, товарищи, наверное, прекращать эти дебаты. Всем давно пора за столы. А после можно и поговорить». Народ не противился, дружно задвигал стульями, загомонил, потянулся к выходу. Мужики, опустив головы, доставали из карманов сигаретные пачки, грустные женщины пропускали их вперед. Хорошее настроение народа сменилось досадой и пессимизмом. Никто даже не посмотрел в сторону веселого гармониста Витьки Косого, который с места в карьер рванул «цыганочку». Если был прав Нешков, а по всему выходило, что он прав, то хорошо в их селе, оказывается, не жилось никому и никогда. Ни раньше, ни теперь...

Через пару недель директор акционерного общества намекнул Владимиру Кузьмичу на то, что ему стоит подумать об уходе на пенсию. Тот артачиться не стал. В шестьдесят пять лет чего ж артачиться, когда и молодым-то нет работы. Ушел водитель председательский по-тихому, как будто его и вовсе никогда не было. Никто по этому поводу никаких сплетен не распускал, не радовался и не расстраивался. Но в селе почему-то толковали, что правда, как и всегда, только себе во вред.